

МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК
ПОКОРНОСТЬ

РОМАН

Перевод с французского
Марии Зониной



издательство **ACT**

Москва

В течение долгих лет моей невеселой юности Гюисманс оставался моим спутником и верным другом; я ни разу не усомнился в нем, ни разу не возникло у меня желания расстаться с ним или выбрать себе другую тему; так что в один прекрасный июньский день 2007 года, после всяческих проволочек, нарушив все мыслимые и немыслимые сроки, я защитил в университете Сорбонна — Париж-IV¹ диссертацию “Жорис-Карл Гюисманс, или Выход из тупика”. На следующее же утро (а может быть, и в тот же вечер, не поручусь, потому что вечером после защиты я напился в полном одиночестве) мне стало ясно, что завершилась определенная часть моей жизни и, скорее всего, лучшая ее часть.

В таком положении оказываются в нашем обществе, пока еще западном и социал-демократическом, все, кто заканчивает свое обучение, хотя многие и не осознают этого, по крайней мере не сразу, одержимые жаждой заработка или, возможно, потребления — в случае самых примитивных особей, попавших в острую зависимость от ряда товаров (но таких все же меньшинство, а люди более солидные и вдумчивые заболевают простейшей формой помешатель-

¹ В результате реорганизации Сорбонны в 1970 году были образованы 13 университетов, различающихся по направлениям обучения. В их числе университеты Париж-IV (Париж — Сорбонна) и Париж-III (Новая Сорбонна). (*Здесь и далее — прим перев.*)

ства на деньгах, этом “неутомимом Протее”), но в еще большей степени они одержимы желанием проявить себя, заполучить место под солнцем в мире, основанном, как они полагают и надеются, на соревновательном принципе, к тому же их раззадоривают всякого рода идолы, будь то спортсмены, модные дизайнеры, создатели веб-сайтов, актеры или топ-модели.

По разным причинам психологического свойства, анализировать которые у меня нет ни достаточной компетентности, ни желания, я не вписался в рамки общей схемы. Первого апреля 1866 года семнадцатилетний Жорис-Карл Гюисманс начал свою профессиональную деятельность в должности служащего шестой категории в министерстве внутренних дел и религий. В 1874 году он издал за свой счет “Вазу с пряностями”, первый сборник стихов в прозе, практически не замеченный критикой, если не считать весьма дружелюбной статьи Теодора де Банвиля. Так что его первые шаги в этом мире, как мы видим, особого фурора не произвели.

Так и прошла его служебная жизнь и жизнь вообще. Третьего сентября 1893 года он был награжден орденом Почетного легиона за заслуги на государственной службе. В 1898-м вышел на пенсию, имея за плечами — с учетом отпусков по семейным обстоятельствам — тридцать лет положенного трудового стажа. За это время он умудрился написать ряд книг, побудивших меня более чем столетие спустя считать его близким другом. О литературе было написано много, может быть, даже слишком много (уж я-то, будучи преподавателем университета и специалистом в этой области, знаю, о чем говорю). Особенность литературы, одного из *главных искусств*

той западной цивилизации, которая на наших глазах завершает свое существование, не так уж и трудно сформулировать. Музыка, в той же степени, что и литература, может вызвать потрясение, эмоциональную встряску, безграничную печаль или восторг. Живопись, в той же степени, что и литература, может дать повод для восхищения и предложить по-иному взглянуть на мир. Но только литературе подвластно пробудить в нас чувство близости с другим человеческим разумом в его полном объеме, с его слабостями и величием, ограниченностью, суетностью, навязчивыми идеями и верованиями; со всем, что тревожит, интересует, будоражит и отвращает его. Только литература позволяет самым непосредственным образом установить связь с разумом умершего, даже более исчерпывающую и глубокую, чем та, что может возникнуть в разговоре с другом; какой бы крепкой и проверенной временем ни была дружба, мы не позволяем себе раскрываться в разговоре так же безоглядно, как сидя перед чистым листом бумаги и обращаясь к неизвестному адресату. Разумеется, когда речь идет о литературе, имеют значение красота стиля и музыкальность фраз; не следует также пренебрегать глубиной авторской мысли и оригинальностью его суждений; но автор — это прежде всего человек, присутствующий в своих книгах, и в конечном счете не так уж и важно, хорошо или плохо он пишет, главное — чтобы писал и действительно присутствовал в своих книгах (странно, что такое простое и вроде бы элементарное условие оказывается в реальности слишком сложным и что этот очевидный и легко поддающийся наблюдению факт был так мало использован философами всех мастей; дело, однако, в том, что люди, в прин-

ципе, обладают, за неимением качества, равным количеством бытия, и, в принципе, все они в равной мере так или иначе *присутствуют*; однако по прошествии нескольких столетий впечатление складывается совершенно иное, и чаще всего с каждой новой страницей, явно продиктованной в большей степени духом времени, нежели собственно личностью пишущего, тает на наших глазах туманный субъект, все более призрачный и безликий). Точно так же, если книга нравится, это значит, по сути, что нам нравится ее автор, к нему хочется все время возвращаться и проводить с ним целые дни напролет. Все семь лет, отданные диссертации, я прожил в обществе Гюисманса, в его практически постоянном присутствии. Гюисманс родился на улице Сегюр, жил на улице Севр и улице Месье, умер на улице Сен-Пласид, а похоронили его на кладбище Монпарнас. Таким образом, почти вся его жизнь протекала в пределах шестого округа Парижа — а профессиональная жизнь в течение тридцати с лишним лет протекала в кабинетах министерства внутренних дел и религий. Я тоже жил тогда в шестом округе, в холодной и сырой, а главное, совершенно темной комнате — окна выходили в крохотный дворик, больше напоминавший колодец, так что мне приходилось зажигать свет с самого утра. Я страдал от бедности и, если бы мне пришлось отвечать на один из многочисленных опросов, сочинители которых периодически пытаются выяснить, “чем дышит молодежь”, я бы наверняка определил условия своей жизни как “скорее тяжелые”. Однако наутро после защиты (а может быть, и в тот же вечер) первой моей мыслью было, что я утратил нечто бесценное, нечто, что я уже никогда не верну: свою

свободу. В течение нескольких лет, благодаря жалким остаткам агонизирующей социал-демократии (спасибо стипендии, разветвленной системе скидок и социальных льгот, а также весьма посредственным, зато дешевым обедам в университетской столовке), мне удавалось посвящать все свое время занятию, которое я выбрал себе сам, — свободному интеллектуальному общению с другом. Как справедливо заметил Андре Бретон, юмор Гюисманса — уникальный случай щедрого юмора, он дает читателю фору, как бы приглашая его первым посмеяться над автором и его чрезмерным пристрастием к жалостливым, ужасным или нелепым сценам. Я, как никто другой, воспользовался этой щедростью, когда, получая очередные порции тертого сельдерея и трески с картофельным пюре, разложенные по ячейкам металлических подносов больничного вида, любезно предоставленных студенческим рестораном “Бюлье” своим несчастным завсегдатаям (которым больше некуда было податься — их, скорее всего, уже давно выперли из всех приемлемых университетских ресторанов, но терпели здесь, поскольку они все-таки являлись обладателями студенческого билета), вспоминал гюисмансовские эпитеты, его *унылый* сыр и *зловещую* камбалу и, воображая, как бы он оттянулся на этих тюремных металлических подносах, доведись ему их увидеть, чувствовал себя чуть менее несчастным и чуть менее одиноким в университетском ресторане “Бюлье”.

Но все это осталось в прошлом; и вообще в прошлом осталась моя молодость. В ближайшее время (и видимо, уже совсем скоро) мне предстояло заняться своим трудоустройством. И никакой радости от этого я не испытывал.

Образование, полученное на филологическом факультете университета, как известно, практически не имеет применения, и разве что самые талантливые выпускники могут рассчитывать на карьеру преподавателя на филологическом факультете университета — ситуация, прямо скажем, курьезная, так как эта система не имеет никакой иной цели, кроме самовоспроизводства, при объеме потерь, превышающем 95 %. Впрочем, образование это не только не вредное, но может даже принести какую-никакую побочную пользу. Девушка, желающая получить место продавщицы в бутике *Céline* или *Hermès*, должна, разумеется, для начала позаботиться о своем внешнем виде, но диплом лицензиата или магистра по современной литературе может стать дополнительным козырем, гарантирующим нанимателю, за неимением годных в употребление познаний, определенную интеллектуальную сноровку, предвещающую карьерный рост, поскольку литература, кроме всего прочего, издавна имеет позитивную коннотацию в индустрии люкса.

Я со своей стороны вполне отдавал себе отчет, что принадлежу к тончайшей прослойке “самых одаренных студентов”. Я знал, что написал хорошую диссертацию и потому рассчитывал на высокую ее оценку; и тем не менее был приятно удивлен, заслужив в *высшей степени положительные* отзывы оппонен-

тов, не говоря уже о великолепном заключении членов диссертационной комиссии, состоящем практически из одних дифирамбов: теперь у меня были все шансы получить при желании должность доцента. И в общем-то, моя жизнь своей предсказуемой пресностью и монотонностью по-прежнему напоминала жизнь Гюисманса полутора столетиями раньше. Первые годы своей взрослой жизни я провел в Сорбонне; там же, возможно, проведу и последние свои годы, и может быть, даже в том же Париже-IV (на самом деле не совсем так: дипломы мне были выданы в Париже-IV, а место я получил в Париже-III, хоть и не столь престижном, зато расположенном в двух шагах, в том же пятом округе).

Я никогда не чувствовал в себе ни малейшего призвания к преподавательской деятельности, и пройденный мною карьерный путь только подтвердил пятнадцатью годами позже это изначальное отсутствие призвания. Частные уроки, которые я давал в надежде улучшить свое материальное положение, довольно быстро убедили меня, что передача знаний чаще всего невозможна, разнородность умов бесконечна, а также что ничто не может не только устранить это глубинное неравенство, но даже, на худой конец, хоть как-то сгладить его. И что еще печальнее, я не любил молодежь, не любил никогда, даже в то время, когда меня еще можно было причислить к ее рядам. Само понятие юности предполагает, как мне кажется, относительно восторженное восприятие жизни либо некое бунтарство, и то и другое сдобренное по меньшей мере смутным чувством превосходства над поколением, которому мы призваны прийти на смену; я лично ничего подобного не испытывал. Вместе с тем в мо-

лодости у меня были друзья, точнее говоря, попадались сокурсники, с которыми я готов был без отвращения выпить кофе или пива в перерыве между занятиями. А главное, у меня были любовницы, или, как тогда говорили (а возможно, все еще говорят), *девушки*, — из расчета в среднем по одной в год. Мои романы развивались по более или менее неизменной схеме. Я заводил их в начале учебного года на семинарах, или в процессе обмена конспектами, или в каких-то иных ситуациях, благоприятствующих общению, которыми так богаты студенческие годы и чье исчезновение, непременно сопровождающее вступление в профессиональную жизнь, повергает большую часть индивидов в столь же ошеломляющее, сколь и беспросветное одиночество. Романы эти набирали обороты в течение всего года, ночи мы проводили по очереди друг у друга (в основном, по правде говоря, на их территории, поскольку мрачная, более того, антисанитарная обстановка, царившая в моей комнате, мало подходила для *любовных свиданий*) и совершали половые акты (льщу себя надеждой, что к взаимному удовлетворению). После летних каникул, то есть в начале нового учебного года, наши отношения заканчивались — почти всегда по инициативе девушек. Летом у них *кое-что произошло*, так, во всяком случае, они объясняли мне, чаще всего ничего не уточняя; те же из них, кто, судя по всему, не очень-то стремились щадить мои чувства, все-таки уточняли, что *встретили одного человека*. Ну допустим, и что из того? Чем я не *один человек*? По прошествии времени простая констатация факта не представляется мне веским аргументом: ну да, они действительно *встретили одного человека*, кто бы спорил; но желание приписать

этой встрече достаточную судьбоносность, чтобы прервать наш роман и завести другой, было всего лишь определенным стереотипом любовного поведения — чрезвычайно устойчивым, хотя и бессознательным, причем устойчивым именно в силу бессознательности.

В соответствии с любовным стереотипом, преобладавшим в годы моей юности (а у меня нет никаких причин полагать, что с тех пор он претерпел значительные изменения), считалось, что молодые люди, по истечении недолгого периода полового разброда в подростковые годы, вступают в эксклюзивные любовные отношения с сопутствующей им строгой моногамией, когда к сексуальному досугу добавляется социальный (совместные развлечения, уикенды, каникулы). Что тем не менее вовсе не отменяло временности этих отношений, их следовало рассматривать скорее как некую подготовку, *стажировку*, так сказать (в профессиональном плане ей соответствовала ставшая уже повсеместной обязательная практика перед первым наймом на работу). Любовные связи разной продолжительности (годовой срок в моем случае мог считаться вполне приемлемым) и текущей (в среднем десять — двадцать, незначительная погрешность допускалась) должны были, по идее, сменять одна другую на пути к, скажем так, апофеозу — итоговой связи, имеющей на сей раз матримонимальный и окончательный характер и посредством деторождения ведущей к созданию семьи.

Восхитительная пустопорожность этой схемы стала мне очевидна много позже, в сущности, сравнительно недавно, когда с промежутком в несколько недель я случайно пересекался с Орели, а потом с Сандрой

(причем, встретить я Хлою или Виолену, вряд ли бы это сильно повлияло на мои умозаключения). Стоило мне войти в баскский ресторан, куда я пригласил Орели поужинать, как я понял, что мне предстоит ужасающий вечер. Несмотря на две бутылки белого “Ирулеги”, выпитые мною практически в одиночку, мне все сложнее было поддерживать на должном уровне дружескую беседу, ставшую вскоре просто невыносимой. Сам толком не понимаю почему, но я сразу же решил, что было бы не то что неловко, а немисливо предаваться общим воспоминаниям. Что касается настоящего, то Орели явно так и не удалось завязать матримонильных отношений, случайные связи вызывали у нее все возраставшее отвращение, одним словом, ее личная жизнь катилась к полнейшей и неминуемой катастрофе. Хотя она все-таки сделала, по крайней мере, одну попытку — я понял это по некоторым симптомам — и так и не оправилась от поражения, а горечь и язвительность, звучавшие в ее отзывах о коллегах мужского пола (за неимением лучшего, мы заговорили о ее профессиональной жизни — она была пиар-менеджером Межпрофессионального совета по винам бордо, в связи с чем часто ездила в командировки, в том числе в Азию, в рамках рекламной кампании французских вин), с беспощадной очевидностью доказывали, что она *огребла по полной*. К моему изумлению, вылезая из такси, она все-таки пригласила меня “зайти выпить”, ну, совсем дошла до ручки, подумал я, — но в ту минуту, когда дверцы лифта закрылись за нами, я понял, что ничего не будет, у меня даже не возникло желания увидеть ее голой, напротив, я бы предпочел этого избежать, но не тут-то было, и мои предчувствия подтвердились: она *огребла*

по полной не только в эмоциональном плане, ее тело тоже подверглось необратимым разрушениям, попа и грудь превратились в участки отошавшей, скукоженной, вялой и обвисшей плоти, так что Орели уже нельзя было и уже никогда нельзя будет рассматривать как предмет вождления.

Наш ужин с Сандрой прошел практически по той же схеме, с поправкой на вариации частного характера (ресторан морепродуктов, должность секретаря-референта в транснациональной фармацевтической корпорации), да и завершился он в общем и целом похожим образом, с той лишь разницей, что Сандра, будучи попухлей и повеселей Орели, не показалась мне столь безнадежно брошенной. Печаль ее была глубока и неизбывна, и я знал, что постепенно она заполнит все ее существо; по сути, она, как и Орели, была *угодившей в мазут птицей*, но сохранила при этом, если можно так выразиться, высшую способность махать крыльями. Через год-два она откажется от каких бы то ни было матримониальных устремлений, но, повинувшись тлеющей пока еще чувственности, *перейдет на мальчиков*, как говорили во времена моей юности, и, превратившись в “женщину-пуму”, продержится на плаву несколько лет, в лучшем случае лет десять, пока увядание плоти, на сей раз необратимое, не обречет ее на полное одиночество.